

О как на склоне наших лет
нежней мы любим и суеверней...

Федор Тютчев

Мальчишники образуются так же спонтанно, как столбовые вихри в чистом поле. Вроде тишь да гладь да божья благодать и вдруг – кружение воздуха, воронка, чертоверть, несущая сор, обрывок газеты да косматый, как оторванная голова, шар перекаати-поля. Там, где по осени пройдет, вращаясь бешеным коловоротом, такой смерч, потом остаются скрученные вихры пшеницы, дающие пищу воображению энлэоманов. Деревенские же бабки говорят: лихоманка крутила, ведьма вилась веретеном, суча нить судьбы.

«Корреспондент из области» Николай Дорогин, приставленный к нему в качестве Санчо Пансы сельскохозяйственный обозреватель районки по прозвищу Петрович и похожий на деловито шагающего по вздыбленным пластам пашни в поисках червей и личинок грача агроном из местных Илья Афанасьевич, прокрутившись смерчевым вихрем по пойманым в ячеистую сеть проселков полям, совершали традиционный ритуал.

Уже нарезана была и разложена поверх заметки со звучным заголовком «Земля, истосковавшаяся по плугу» купленная в сельпо колбаса. Уже было налито, и два напряженно смотрящие с серенького фото механизатора с завистью созерцали хрустальное содержимое трёх стаканов. Уже произнесён был тост за знакомство – и по закону неотвратимой неизбежности мальчишник вливался в своё привычное русло, как вливаются весною ручьи в овраги и, расплеснувшись там вольготно, образуют глубокие омута: чернота непроглядная, дна не видно.

Достигнув неизбежного градуса, с международной обстановки и неурядиц посевной разговор перескочил на заповедную тему всех мальчишников. Так в сонате за анданте следует аллегро, а за ним престо. Не ведающие итальянской терминологии деревенские гармонисты называют это место наигрыша словом «наяривать», в котором, как оперённый остью колос в зерне, запакована память о бородастом истукане Яриле.

– Бороной он его, Севостьяна, и протаранил! – нарушая табу не давать для печати чернухи, обмолвился Илья Афанасьевич, остограмливаясь минералкой, потому как, в отличие от сотрапезников, был за рулем.

Он ещё на подъезде к полуруине бывшей совхозной конторы села Воронова проговорился. Позапрошлой ночью приключилось это ЧП, и потому всё начальство трясло по поводу возможной ответственности за недогляд. Понятно, что и у поднятого ни свет ни заря Ильи Афанасьевича стояли перед глазами и истерзанный бороной механизатор, и его рыдающая жена, и усаживаемый в милицейскую машину «убивец» в наручниках. Услышав подробности «острого сюжета», уже когда, форсируя размытую ручейком дамбу, они застряли, и можно было отдыхать глазами на разливах прудовой глади, словно ты плывешь на лодке, Дорогин подумал, что на самом-то деле вот он – сюжет на первую полосу со снимком, а не снотворно-тягомотные подробности отчёта хватющегося судорожной рукою за графлений листок с цифрами директора со скользкими, как черные головастики в теплой луже, глазами! Он уже грезил, как сквозь стекло газетного киоска всё это дразнит пресыщенного читателя. Скажем, подходит совсем юная она – и во все глазищи-синюхи видит ужасающую картинку. Борона в полснимка. Труп. Заголовок «Загадочная смерть Севы на севе». Так никому не видимый юморист-фельетонист всегда начинал выдавать свои клоунские репризы, стоило Николаю Дорогину призадуматься о чем-то действительно трагическом. Вот и теперь, затесавшись между районным хроникёром и представляющим находку для шпиона словоохотливым агрономом, двойник в клоунском прикиде уже изображал пантомиму роковой смерти, дурашливо раскинувшись на полянке.

– А мотив-то убийства какой? – старался не обращать Дорогин внимания на шута горохового.

– Да какой мотив – баба! – с нотками страдания в голосе исторг из себя

поверх пережевываемого бутерброда районный агроном. – Видел в магазине, когда водку с закуской покупали, продавщицу? Вот из-за неё всё!

В воображении Дорогина возникла брюнетка, каких обычно величают жгучими, мелькнул какой-то посторонний кадр из вестерна – красotka за стойкой бара в салуне с этикеточной научной библиотекой бутылок за спиной, воскрес характерный запах сельских продуктовых магазинов – стойкая смесь дразнящих аппетит ароматов с примесью тошнотворной гнили. Затем всплыл давний разговор с другом – хозяином туристической фирмы, который, вернувшись из поездки в Египет, пытался воспроизвести в словах неопишемую красоту нубиек, а потом показал фотографию, на которой была запечатлена гостиничная консьержка с прекрасным лицом жены фараона. Вот её-то и напонила продавщица.

– Ну и что она? – задумчиво спросил Дорогин.

– Да что! Молодуха со стариком спуталась – вот и пошло-поехало!

Санчо-Панса-Петрович пока помалкивал, наслаждаясь разлитием тепла по руслам и притокам утомленного жизнью тела. Тем более что имел возможность по-самурайски бесстрастно медитировать, уходя всем своим существом в окружающий пейзаж. В «иву плакучую над мерклой гладью воды», «черемуховую закипь цветения», в «огневые росплески жарков». Петрович был неисправимым лириком и печатал в районке заметки о цветах, птицах, простых земных радостях охоты и рыбалки.

– Чем-то же он её прельстил? Ведь не деньгами же?

– Кабы знать, чем! В том и загвоздка! Бабка-то Настина говорит – присушил, – с птичьим клекотом в горле почти что прокаркал агроном.

– Он мог! – подал голос Петрович. – Травками мужик увлекался. На базар в город их возил, сдавал в аптеки. Через то и деньжата у него водились. И не такой уж он старый, всего пятьдесят ему было, как и тебе, Афанасич.

А ей двадцать пять. Ну и что с того! Достоевский вон в сорок с лишним лет на двадцатилетней женился. А у Александра второго и княгини Юрьевской была разница в три десятка. Ей семнадцать, ему – сорок семь.

– Ну наш-то травник-забавник не императором был! Обычный механизатор, – возразил Илья Афанасьевич. – Да и Настя Вороновская – не княгиня Юрьевская. Муж-то у неё совсем молодой, вот его и заело...

Не шла сегодня у Дорогина водка в горло. Он и первой-то чарки не допил, пригубил только. А когда Петрович взялся подливать, накрыл стакан ладонью, как накрывают рюмку краюшкой хлеба, выставляя покойнику на могилу поминальную. Из головы не шла борона на краю березового колка, возле которой по специальной просьбе остановил свой похожий на побитый рыцарский доспех узик районный агроном. Борона была перевернута и хищно щерилась зубьями. На них, правда, невозможно было разглядеть никаких бурых сгустков, но, присев на корточки, Дорогин потрогал одно острое и подумал, что это, пожалуй, поэффективней осинового кола будет. Того средневекового оружия, которым пригвождали когда-то порывающихся сбежать из своих могил ведьм и ведьмаков.

«Тут вот он расстелил телогрейку, чтобы подремать немного после засыпки семян в сеялку, – показал агроном слева от черного пятна прогоревшего костра. – Ну, Настин муж на него и наехал».

Дорогин смотрел на покрывшуюся от дуновения ветерка ознобными чешуйками водную гладь – и события позапрошлой ночи наезжали на него в мельчайших подробностях, прожигая его одуревшими фарами неумолимого трактора.

Его вдруг будто бы обожгло зубом бороны, только что раскаленным в кузнечном горне дляковки, и, ужаснувшись, он понял, что прикорнувший

около цветущего ярким бутонем в ночи костра пятидесятилетний засыпщик семян – это он. И что, пока рычит вдали мотор приближающегося колёсника, ему надо просыпаться и бежать за спасительные стволы деревьев, а от туда в дом со ставнями, с яблонькой в палисаде, с которой по осени они с женой ведрами набирали терпких яблочек и варили из них повидло, чтобы садиться за стол и, отражаясь всей семьёй в помпезном самоваре, пить чай с вернувшейся из школы дочурой. Ужас накатывал. И был тем более цепенящим, что в ярко освещённой кабине отчетливо был различим ухмыляющийся во весь растянутый до ушей рот клоун.

И пусть позапрошлой ночью Дорогин не на провонявшей солярой телогрейке и не у костра грелся, а был совсем в другом месте и при других обстоятельствах – это принципиально ничего не меняло. Он и в эту командировку сорвался, чтобы убежать от чего-то, что наезжало на него из непроглядной черноты за притихшими шторами, когда она уже засыпала. Коротки весенние ночи. Но тем неистовее они в необузданном разливе чувств. Не предвещавшее никаких поворотов судьбы желание посидеть в одиночестве за столиком в кафе вылилось во внезапное знакомство с провожением до подъезда девушки, читавшей его эссе, очерки и фельетоны. Задержанная в руке рука утянула в омут, оказавшись на дне которого, Дорогин отнюдь не желал выныривать на поверхность. Он стал пленником русалки, девушки, бросившейся с обрыва в черную воду под мельничное колесо.

– Вот тут как раз, где вода бурлит, – это колесо и крутилось! – баял Петрович. – Я ведь здешний. Этот пруд с тех пор, как дочка мельника от несчастной любви утопилась, так и называется Алёниным омутом. Романтичная, надо сказать, история! Ссылнопоселенец из политических умыкнул невесту со свадьбы да и бросил её, спутавшись с отравленной по этапу народоволкой.

Совсем молоденькая была касатушка, а он-то перестарок, злодей бесноватый...

Омутом, в который затянуло Дорогина, была отдельная квартира, в которой жила вовсе не дочь мельника, и теперь он то и дело «брал командировки», чтобы, раздвинув зелень ряски на воде, видеть кнопку дверного звонка и двери, перед которыми он отныне стоял в вечном карауле с неизменной розой для неё. Она становилась русалкой и утопленницей лишь в короткие минуты чувственных затмений, а в остальное время оставалась незамужней и не собирающейся замуж фотомодельных кондиций девицей, устраивающей свою жизнь по сценарию, не согласуемому с фантазиями мужского пола о прекрасной половине человечества, в представительницах которой каждому Дон Кихоту мерещится буколическая Дульцинея.

Когда подобно тяжелому занавесу свисающие с бабушкиных гардин шторы озарило рассветом, и Дорогин очнулся от понимания того, что и старый мельник, и его дородная жена мечутся по берегу и, видя, как он, запутавшийся в стеблях кувшинок, приваленный нанесенной придонным течением корягой, оцепенел с открытыми глазами наполовину затянутый илом, он увидел на стене рядом с книжной полкой календарь с рекламой туристической фирмы, и его будто острием бороны кольнуло в грудь. Друг-турфирмач рассказывал о нубийках только для отвода глаз. На самом деле не в них было дело. А в том, что он мотался на курорт с молоденькой девицей-менеджером по продажам, жил с ней в одном номере отеля, а вернувшись, снял ей квартиру, которую в конце концов выследила жена и, явившись на порог, устроила разгром с выдиранием волос соперницы и увольнением её без выходного пособия (фирма вообще-то принадлежала жене, а друг только блефовал и альфонсировал).

И хотя она никогда не работала в

туристической фирме, а календарь купила в газетном киоске, который в каком-то смысле познакомил их ещё до той встречи в кафе, Дорогина не покидало гнетущее ощущение, что он попал в лабиринт сновидений, где его подстерегают повторяющиеся ситуации.

– Да говорю я тебе, Петрович, сиди на бороде – бес в ребро! – отчего-то ярился агроном.

– Но ведь и она его любила! – не соглашался Пришвин районного масштаба.

– А ты вспомни, как она этого калымщика-азербайджанца в оборот взяла! – ещё больше напрягал голосовые связки агроном, и в самом деле похожий на грача, теперь уже обороняющего свое гнездо-малахай от лезущего по стволу мальчишки.

* * *

К концу импровизированного пикника Илья Афанасьевич совсем разволновался, почернел так, будто смену отдубасил в кочегарке, и слегка порозовел лишь тогда, когда подошел к воде и, разогнав ладонью ряску, поплескал в лицо, недовольно фыркая. Доставляя журналиста до железнодорожной станции, он насуплено молчал, яростно выворачивая руль на поворотах. Прощаясь, Дорогин прочел в глазах Ильи Афанасьевича тоску: не смог удержать язык за зубами, раскололся по поводу чрезвычайного происшествия, и теперь всё это чего доброго всплывёт в областной прессе, как тот утопленник, под напором течения отпущенный на волю из плена цепких когтей придонной коряги.

Изрядно уже подшофе Петрович изъявил желание проводить гостя из области до самой электрички. К тому был повод: в купленной на командировочные Дорогина бутылке ещё оставалась недопитая влага. Дорогин, и без того-то не охмелевший от двух глотков (недопитую огненную воду абориген, пакуя в газету остатки за-

куся, опрокинул в бездонное хайло), окончательно протрезвел. Но это была трезвость особого рода. Покупая билет в вокзальной кассе и беря в руки белый бумажный прямоугольник, он вдруг увидел, как она, по-детски улыбаясь, протягивает ему махровое полотенце. Перед этим они стояли в ванной под душем, и стекающая вода превращала её бедра в серебристый чешуистый хвост. Волосы её были зелеными. Кожа – голубоватой. Это и был омут – одна из глубин его, куда он погружался сквозь задымленный полумрак кафе, где в сомнамбулическом танго она прижималась к нему под укоряющим взглядом стоящей за стойкой бара жены, ускользя от укоризненных взоров сидящей с бойфрендом за дальним столиком дочери. Так казалось. Ему теперь всегда что-то казалось.

– Ты думаешь, чё Афанасич так завёлся? – плеснул в стакан очередную порцию из запрятанной втайне во внутренний карман куртки заветной бутылки поводырь Дорогина.

Они сидели на шершавой железобетонной хреновине эпохи победных пятилеток и плакатных людей, ломившихся с газетных полос в обмундировании рабочих роб: передовые колхозницы и неутомимые рабочие, которые даже в постель ложились, не снимая с себя очугуневшей спецодежды и не выпуская из рук серпов и молотов.

Дорогин недоумённо пожал плечами. Откуда ему было знать – отчего не смог удержаться и рассказал всё-таки из-за своей банальности мало годящуюся для первой полосы жутковатую историю районный агроном, а тем паче – отчего он из смуглого превратился в совсем почти черного мавра по мере того, как анализировал детали этой любовной драмы. Да и не молод он – весь день за рулем, нанервничался, когда они застряли на дамбе, и ему пришлось ходить за трактором, утопая моднячими ботинками в расквашенных яминах. (Когда увязший в дорожной хляби драндулет тянули из размытой колеи,

агроном в задумчивости уточнил: «Вот к этому «Беларусю» и была прицеплена та грёбаная борона...».)

– Наверное, потому, что теперь у него будут неприятности: не обеспечил безопасности на севе, – пробормотал Дорогин в ответ на вопрос насчет «заведшегося» Афанасича, чтобы только что-то сказать.

– Да это всё уже оформляют как несчастный случай... Благо у погибшего не было маленьких детей. Дочь уже выросла и вышла замуж. Жена, конечно, горевать будет, но и у неё есть утешитель. А вот Афанасич так бесится потому, что и у него с Настёной была история – весь район о том судачил. Он квартиру для Настёны снимал в городе. Она туда уезжала под видом – по магазинам прошвырнуться. Он вроде как по делам в областном управлении, и там они встречались. Жена их раскусила. Подкарулила, облила бензином дверь в той квартире и подожгла. Афанасич до сих пор с хозяином расплатиться не может... Он поначалу-то обрадовался, когда эта ерунда с новым хахалем приключилась, думал – она к нему, к Афанасичу, вернется, раз так дело вышло, а она его наотрез отшила...

Оцепенев, заезжий журналист следил сквозь провода над железнодорожным полотном за гонимыми надвигающимся антициклоном облаками. Ему казалось – это уносимые паводком сухие, взбивающие пену ветки, которые тащит невесть куда и прийдёт не известно к какому берегу, а между ними он – утопленник с выеденными, высосанными мелкими омутными рыбёшками глазами.

Уходя от не неё, он так живо представлял, как вслед за ним – не сегодня, не завтра, но всё равно когда-нибудь, рано или поздно – в этот же омут будет затянута кто-то другой, и там, на блаженной глубине, она будет с этим другим не официально отвечающей на звонки офисной девушкой в строгого кроя юбке с прической, не предрасполагающей к посягательствам, а

русалкой-утопленницей. Подобное развитие событий предполагалось так естественно, потому что в порыве откровения она рассказывала ему о предыдущих. Никакая она была не незамужняя, а уже успела сходить замуж. Из фотоальбома, который она доставала с книжной полки, чтобы, иллюстрируя картинками, рассказать ему свою жизнь, на него смотрела поднятая на руки в пышном, как ветвь цветущей черемухи, платье нубийка. Жених был в два раза моложе Дорогина, напоминал ему сына друга-турфирмача, и непонятно было, почему несколько лет женитьбы закончились синей, как подсаженный ревнивцем под глаз жены-красавицы фингал, печатью в паспорте: разведены! Её свадебные снимки заставляли особенно фонтанировать воображение Дорогина, ему казалось, он седой, нажившийся на свете греховодник, обрядившись в дружку жениха, пробрался на эту свадьбу и уволок невесту из-под носа ничего не подозревавшего недомужа, подменив её манекеном, украденным из магазина для новобрачных своей юности. И было странно, что никто не заметил подмены. Молодежь продолжала пировать, балдея и вихляясь под забойный рэп. Пирующих не интересовала странная неподвижность невесты. Их не занимал дяхон, который подхватил под мышку что-то, ему не принадлежавшее, и уволок. По двору, заставленному деревьями-мыслями, Дорогин уходил между чужими домами, садился в неуютный троллейбус и вместе с цепенящим опьянением всё ещё не отпускающей его ночи уносил в себе ревнивое бессилие и боль неясных предчувствий. Ему виделось, как к её подъезду подъезжает комфортабельная иномарка – и она, счастливая, выходит из машины с коробками подарков в руках. Как она смеётся и припадает к плечу молодого спортсменистого качка, пока тот возится с подъездными дверьми. Продолжая стоять у её двери с розой, тортиком, апельсинами и бутылкой вина в пакете, он не имел сил сойти со своего поста,

когда эти двое, хохоча, проходили сквозь него и скрывались за дверью. И всё бы ничего. Но самым нестерпимым было то, что в её теперешнем спутнике он узнавал замаскированного под журнальнообложечного денди клоуна с размалеванной физиономией. И если бы только это! А то ведь, когда Дорогин выскальзывал из её квартиры, где она оставалась лежать под простынёю подобно мраморной скульптуре, он буквально проходил насквозь свою голую, со стелящимися по омутному течению волосами, пребывающую в забытьё утопленницы жену. Да – его утянула на дно русалка, а жена с горя утопилась.

Город ещё оставался вдали кубиками игрушек в детской. Вечерело. И когда электричка тронулась, в окне проплыла ухмыляющаяся губами-гальянами физиономия Петровича, а вслед за ней молоденький милиционер с золотым карасем сержантских лычек на погонах, так похожий на того воображаемого качка, который должен был рано или поздно сменить Дорогина в её отдельной, купленной её небедными родителями квартире. Какой-то молодой милиционер из одноклассников звонил ей что ни утро по сотовому. И Дорогин, голый, притаившись под одеялом, слушал, как, уйдя на кухню, она договаривалась с ним о встрече в том же кафе, где они так романтично познакомились. В ушах Дорогина ещё звучали слова Петровича об уехавшей на Кубань жене, где умерла тёща и остался дом, перед глазами ещё стояло блаженное лицо алкоголика из районных лириков-природофилов произнесшего: «Я ей звоню и говорю: ты моя виртуальная жена!», а электричка уже въезжала в её квартиру-омут, где на полках теснились книги с голубыми и зелеными корешками и жались друг к другу мягкие игрушки, ещё хранящие тепло её детства. Мишка с глазами-бусинами. Тигренок с зыркалками-пуговками. Заяц с пластмассовыми кругляшками вместо глаз. Клоун с растянутой до

ушей зловещей ухмылкой. Тот самый, преследующий его с тех пор повсюду клоун. И во все глазени этих игрушек он видел, как она, божественная и прекрасная, вводит в зашторенную комнату за руку молоденького привокзального милиционера и, отбросив нахлобученную на его по-кадетски торчащие уши фуражку, начинает расстегивать пуговицы на его кителе, ослаблять узел галстука, как, блаженно-дурашливо улыбаясь, он смотрит на неё. Раньше ему казалось, что видный в щель между шторами запорошенный снегом клён – её одереvenевший от ревности бывший муж. Теперь этим полуиссохшим клёном был он.

Закрыв глаза, Дорогин каждой веточкой видел, как в момент, когда она освобождает русалочки бедра от юбки и под нею обнажается переливчатая чешуя, из кухни выходит его жена с недочищенной картофелиной в одной и ножом в другой руке.

– А вы что здесь делаете, гражданинка? – вопрошает милиционер, поддерживая труссы.

– Как – что? Это моя квартира!

– С этим мы ещё разберёмся – чья! Только уберите холодное оружие...

Такие видения посещали жену с тех пор, как не заладилась семейная жизнь у дочери, а он стал «задерживаться в командировках».

Дорогина покачивало и поташнивало. Лицо нубийки из нежно-обворожительного, светящегося и манящего становилось каменно-холодным. Ушные перепонки рвали визгливые нотки, переходящие в уверенное форте официального заявления о разводе. Производила ли на свет эту какофонию жена или она, разобрать было невозможно. А до этого голос журчал, ласкал слух, как скользкий по коже шёлк. Он ощущал её дыхание рядом со своим лицом. Он отчетливо видел, как заходит в прихожую, как она обнимает, прижимаясь к его ошетилившейся за сутки в дороге щеке, лепечет ласковые слова, расстёгивает пуговицы на его пиджаке, ослабляет тесной удавкой давивший

всю дорогу шею галстук. Не было тут и не могло быть никакого молоденького милиционера с привокзального перрона на далёкой станции. Бред всё это. Да и бугая того на шикарном авто он видел вчера с какой-то взбалмошной девицей входящим в подъезд совсем другого дома – и просто сумасшедшее воображение провело невольную параллель. «Никто ей не нужен, кроме меня», – мелькнуло в голове Дорогина, и он почувствовал, как ускользает из-под ступней колченогая табуретка, на которой он балансировал, привязывая к удерживающему гардину гостиничному гвоздю выбранный ею в магазине галстук (ей хотелось, чтобы он выглядел импозантно). Пробуксовав в ручье в ожидании трактора, который подошел, лишь когда уже смеркалось, на последнюю электричку они не успели, и Дорогину пришлось отправиться на ночлег в районную гостиницу. «Никто ей не...», – ещё раз попытался убедить он себя, ощущая, как затягивается петля, и всё ещё не веря, что у табуретки оказалась такая ненадежная ножка и происходящее – явь, а не сон, выползший из темного гостиничного угла за выключенным телевизором. И когда перехватило дыхание и тело начало деревенеть, всеми своими уже взорвавшими почки зеленью листвы ветвями он увидел: она ждала его, разложив на диване тигрёнка, зайчика, мишку, клоуна, которых он приносил ей вьюжными вечерами вместе с запрятанными за пазухой розами и фруктами в морозно шурушащих пакетах.

Дорогин уже преодолел бесчисленные ступени переходного моста и как-то автоматически шел, увлекаемый людским половодьем над электричками и поездами, которые всё время откуда-то прибывают и куда-то отправляются. Он пропустил троллейбус, в который садился обычно, направляясь к ней, и отключил мобильник. Не было никакой легенды про Алёнин омут, а просто пока Петрович травил пошлый анекдот про вернувшегося из командировки мужа и любовника в шкафу,

Дорогин выдумал эту сказку, вырастил её из простого междометия алё, в котором, если его произносила она, он мог утонуть как в бездонном омуте. Соединив слова алё и она, он и получил легендарную Алёну. Отключив сотовый, он поступал по-предательски и знал – она будет смотреть на часы и ждать, когда зазвонит телефон. Но он смертельно устал. Он сел в автобус, ощущая на себе едкий кричащий – «неужели ты обманул меня, папа!» – взгляд, он видел её, в одной ночнушке стоящей бледной тенью у замшелого, вращающегося скрипучего мельничного колеса с прижатыми к едва оформившейся грудке дареными им игрушками, он понимал, что через полчаса её волосы будут струиться по мерклой воде, а выпавшие из разжавшихся пальчиков тряпичные зверушки непотопляемыми поплавками станут кружиться в пенных водоворотах. Он пускал омертвелым ртом пузыри, он выдирался из ила и отбрасывал придавившую его скользкую, прилипчивую корягу (он рухнул в этот омут, привязанный к осьминогоподобному пню захлестнувшимся смертельным лассо куском ткани, называемым словом из наивного пионерского детства – галстук.) Он подхватывал свою краденую невесту, уже мертвую, на руки и, любуясь её сверхъестественной красотой, тянул её на дно, подальше

от суесящихся наверху, баламутящих воду баграми людей. Пока они делали это, металлический женский голос периодически объявлял станции.

Сквозь полусон Дорогин ощущал запах соляры, исходящий от растеленной на едва прогретой весенним солнцем земле телогрейки. Он слышал нарастающий рокот. Он хотел, но не мог вскочить – и бежать, бежать от рычащего, захлебывающегося горячий ненавистью, сияющего всепрожигающими зрачками чудовища, через березники, по мерцающим в полусвете луны жаркам-купавам, тревожа позванивающие хрустальным нездешним звоном колокольцы сон-травы, перебрывая лазающие голые щиколотки ручьи туда, где ждёт его в доме с наличниками его жена, где спит, пуская слюнку в подушку, доченька, и на ветках за окном наливаются кисло-сладким соком ещё не пошедшие в компот тверденькие и шелковистые на ощупь яблочки. Он не мог бежать, пригвожденный взглядом ухмыляющегося клоуна в ярко освещенной кабине. К тому же Дорогину не давали шелохнуться навалившиеся на руки и ноги разбухшие, как гигантские тыквы на бахче, медведь, тигр и заяц. Раздвоившийся заячьими ушами галстук зятягивался на шее, плюшевая морда заткнула рот, мягкая, но непосильная тяжесть давила...